

Т ак как же добраться до художника и не заблудиться?

— Расскажите, как вы жили за границей.

— И не подумаю. Бессмысленно. Для этого надо смотреть мои работы. Которые еще ни разу не выставлялись.

...Я возвращалась с пустым диктофоном, с тяжелым сердцем. Прошлась после двухдневного сидения в его тощей квартирке с занозистыми полками из дощечек от овощных ящиков (знаете, что сбрасывают к

разумными доводами. Детство было счастливым и небитым.

Мальчик рано проявил способности к рисованию, и в пятнадцать тридцать седьмого его иллюстрации к «Руслану и Людмиле» уже экспонировались в Историческом музее на выставке, посвященной 100-летию со дня гибели Пушкина. Было художнику девять лет.

Так началась поразительная, ни с чем не сравнимая бунинская пушкиниана. Над Пушкиным он работает всю жизнь. Обладая феноменальной памятью, знает его произведе-

Я возвращалась с пустым диктофоном. Единственной записью в блокноте оставались крохи — как добраться до обиталища художника и не заблудиться. Возвращалась с мрачным камерным ничего не писать. Смысла нет. О нем, Павле Бунино, авторе уникальной графической пушкинианы, уже все сказано в сотне восторженных публикаций, подписанных не только скромными репортерами, но и литераторами, и профессорами наших и зарубежных университетов... Но шли дни, а работы Бунина стояли перед глазами. Все увиденное и прочитанное в это время невольно и самостоятельно соотносилось с его судьбой, отодвигая прочие встречи, лица, темы на потом, на когда-нибудь. Поняла: если не выговорюсь, жизни не будет



«Фауст». Маргарита.

Бунин, который все-таки вернулся

мусорным контейнером), заваленной папками с тысячами рисунков, споткнулась на пороге, услышав: «Когда я почувствую, что конец близок, все это уничтожу. Сейчас никому не нужно? Не хочу, чтобы потом на мне паразитировали».

Когда Дятлева расспрашивали о его жизни, он отвечал: «Я лично ни для кого не интересен: интересна не моя жизнь, а мое дело». Да разве бывает одно без другого? Но это так, в скобках.

Саади утверждал, что человек должен жить не менее девяноста лет. Первое тридцатилетие ему следует копить знания, второе — странствовать по земле. Последнее тридцатилетие целиком и полностью отводится творчеству. Тогда жизнь состоялась. Что же, красиво... Логично. Одно смущает: как там у них обстояло с социально-политическими нежизненностями?

Павел Львович Бунин, которого уже давно и без натяжек именуют классиком российской книжной графики, в прошлом году отметил свое семидесятилетие. По излюбленному древнерусскому канону он не дошел и до середины своего творческого пути, еще пахать и пахать! И он, в самом деле, бодр и энергичен.

Но Бунин грубо и нелюбезно нарушает гармоничную восточную схему. Он больше не рисует...

— Как же так? Как можно...

— А кому все это нужно? Это — трагедия. Трагедия не только конкретного, одинокого и неуютного человека по имени Павел Львович. Трагедия сегодняшней российской культуры в целом. Но это отдельный вопрос. А пока попробуем разобраться с тридцатилетиями.

— Павел Львович, а Ивану Алексеевичу вы не родня?

Бунин, досадливый взмах ладони: «Ах, не вздумайте писать об этом! Паустовский уже пытался, да так, кажется, и не закончил. Докопал до акварелиста Бунина, оказалось — мой какойтоорудный дед. Род Буниных очень разветвлен».

Павел Бунин — коренной москвич. Отец его рано умер, и мальчик стал жить в семье дела-инженера. Другой дед, по материнской линии, знаменитый хирург Сергей Иванович Спасокукоцкий, бист которого установлен у 1-й Градской больницы, рекомендовал в профилактических целях поехать Павлушу по субботам для закаливания характера. На что бабушка резонно возражала: «Ну что ты, Серж, ему не дивизионом командовать», — воздевая исключительно лаской и



Павел Бунин (справа) с Корнеем Чуковским. Фото из архива Бунина

ниа наизусть. Иллюстрирует все: и прозу, и поэзию, и публицистику, и даже письма... Создано уже свыше тысячи пушкинских листов.

(«А кому все это нужно?»)

К пушкинской теме мы еще вернемся. А пока (как там у Саади?) о накоплении знаний. Учился Павел в средней художественной школе, что называется, от природы чистым гуманитарием, не насиловал свою природу мучительным «всезнанием» в точные науки. Остальное лавалам само и с удовольствием. К талантливому мальчику и здесь не применялось, относились с пониманием.

Потом был Суриковский институт. Без ненавистных математик. Но... Но детство, когда не бьют, кончилось. Об этом периоде своей жизни Павел Львович не рассказывает. Только в разговоре упоминает то один эпизод, то другой. Будто собеседник знает все это, не может не знать. Потому что в нем самом это неизживаемо, присутствует всегда. Как родимое пятно. «Меня это время переломало навсегда. То, что вы видите, — только обломок».

Конец сороковых. Послевоенная Москва. Облезающая холдная квартира в доме-развалюхе. Уже не выздоравливающая от недоедания мама. Бабушка, и в лишениях не теряющая царственной осанки. «Как-то вызвали меня на кафедру. Кафедрал спрашивает: «Почему ты в такой мороз ходишь в дамских босоножках?» «Разумеется, потому, что другой обуви нет. А в чем дело?» И он показал мне бумагу... Донос. Наш комсомольский активист, который всегда мне улыбался,

утверждает, что я специально разгуливаю в непотребном виде по улицам, чтобы дискредитировать советское студенчество в глазах американских журналистов. Мол, надеюсь, что кто-нибудь из них меня увидит и сфотографирует. А почему вы хмыкаете? Тогда это было не смешно, поверьте. Через несколько дней — повторный вызов. Ничего хорошего, конечно, не жду. «Бунин? Вам послышка». Открываю — там ботаники. Думаю, кафедра отдал свои».

Тогда же началась незабываемая кампания — «борьба с безродным космополитизмом». А у Бунина «подкачал» пятый пункт. Его выкинули из института. Причем формальным основанием послужил якобы недостаток профессиональных навыков. Плохой художник, никудышный! Больше придираться не к чему: марксизм-ленинизм благодаря удивительной памяти, как говорится, от зубов отскакивал.

...Перебирая работы Павла Львовича, я залюбовалась рисунком: перо, тушь; точные, нежные линии сплетаются в прелестный образ, живущий вне времени.

— Великолепно, — не удержалась я. — Это же вещь мирового уровня! Когда вы это сделали?

— В девятнадцать лет. Когда меня выперли из института за плохой рисунок.

— Я думаю, вам нечему было там учиться...

Однако надо было жить. Жить как-то, на что-то. Павел много работал в редакциях и издательствах, пытаясь копейными гонорарами спасти от голодной смерти (буквально!) двух единственно близких и нежно любимых — маму и ба-

бушку. В пятидесятых наступил голод. Работы не давали. Я видела фото: какой-то размытый сумрак затягивает и вот-вот поглотит обтянутый слабой кожей упрямый лоб, острый угол скулы. Вместо глаз — черные провалы.

— Павел Львович, кто это? Неужели вы?

— Это? Это — голод. Мама умерла в пятьдесят девятом году. Ей было только пятьдесят два. «Хрупкая натура, дитя революции. Бабушка была гораздо крепче: она застала двадцать пять лет нормальной дореволюционной жизни. Это ее спасло».

Честно говоря, не знаю, как Павел из всего этого вырuling. Знаю, что в это время в нем возникло и укоренилось стойкое отвращение к работе «для себя». Это страшная вещь для художника, гибельная. Особенно когда большинство работ так-таки и остается «для себя». И совершенно непостижимо, откуда в таком случае возник виртуозный художник-график, блестящий эрудит, публицист, переводчик и феноменальный знаток мировой литературы и истории, страницами с точностью до запятой цитирующий излюбленных авторов, — Павел Бунин.

О нем, этом уникале, академик Евгений Викторович Тарле писал Корнее Ивановичу Чуковскому: «И он сам, и его рисунки мне очень понравились. Знает он много, может цитировать меня целыми страницами, чего я не могу». Чуковский это не удивило, поскольку он уже не просто знал Павла, но и помогал ему выжить — и деньгами, и дельным советом.

Познакомились они занятно. Еще будучи школьником лет эдак четырнадцати, Бунин прочитал этюд Чуковского об Оскаре Уайльде в дореволюционном издании. Мальчик сорвал свои иллюстрации к Уайльду и отправился в Перелдинку побеседовать о литера-

туре. Несмотря на разницу в возрасте, Корней Иванович оказался достойным собеседником. Их дружба длилась около тридцати лет.

Много позже, в Париже, Бунин развлекал компанию дословной передачей своих многочисленных диалогов с Чуковским. Присутствовавший при этом Ефим Эткинд возмущился подобной расточительностью: «Вы совершенно неправильно используете свою машину времени! Сидитесь и пишете!» Бунин сел и написал. Получились очень живые, личностные и тем особенно ценные воспоминания о Чуковском. В девятом номере за прошлый год их опубликовал журнал «Дружба народов». Кроме того, Бунин выпустил на свои скромные средства (!) книжку в смоленском издательстве. Не представляю, где ее можно купить, но очень хочется. Бунин, как выяснилось, тоже не представляет. У него на руках — единственный экземпляр. Книжки ему не отдали. Но это уже — теперь. Вернемся в тогда.

Бунин трудится как одержимый. Не оставляя работы над пушкинской темой, создает серии рисунков к греческим, французским и английским классикам, к русской истории, иллюстрирует Данте. В различных издательствах вышло пятьдесят книг (!) с его рисунками. Чтобы представить объем работы, сообщаем: «Рубан» Хайяма сопровождаются сотней изысканных бунинских рисунков, а «Тиль Уленшигелъ» Шарля де Костера — ста пятьдесятю...

Много печатается в периодике, благо графика на газетной полосе лежит весьма пристойно. Публикует свои заметки. Его имя знает его почерк угадывают. Но «наверху» это раздражает. Когда Борис Полевой, будучи главным редактором «Юности», пытался «проветривать» в ЦК бунинский вопрос, референт Брежнева брезгливо обронил: «Все газеты нам загадили... Пусть сидят на своей

жердочке». Это и была «официальная позиция».

В 1970 году ушла из жизни бабушка. Павел остался один в этой жизни. Стало совсем холодно. И показало, что жить нечем. Через четыре месяца он открыл газовый кран и поплотней затворил форточку.

Его друг Олег (у которого Павел когда-то сдувал математику), так и не сумел объяснить, почему он тогда так бежал к нему. Что-то гнало. Но примчался вовремя, чтобы выключить газ и распахнуть окна.

В том же году в «Советской культуре» крупнейший искусствовед М. Алпатов писал, имея в виду прежде всего пушкинскую серию: «Из огромного количества рисунков П. Бунина можно выбрать около 100, которые составят превосходный альбом». А через год в «Советской России» дважды появляется обращение, подписанное такими авторитетами, как С. Коненков, П. Антокольский, С. Михалков, Ю. Завальский, Д. Благой, Б. Полевой, Т. Цявловская, И. Бэлза, И. Андроников. Обращение ко всем, от кого это зависит, познакомить читателей с бунинской пушкинианой, выпустить альбом.

Художник с газетами в руках отправился прямиком к Фурцевой: кутить так кутить. Она фыркнула ему в лицо: «Знаем мы, как делаются такие публикации». Бунин так и не понял — как?

Давно это было, тридцать семь лет назад. Пушкинская серия насчитывает уже свыше тысячи листов. Альбома нет. Ни одного! При этом книжный рынок завален коммерческой макулатурой.

Правда, нашлись в наше время благородные спонсоры (тыфу-тыфу, чтоб не слзались!), один альбом готовится. Не прошло и полувек...

Нет, не получается гладко! Все так переплетается и перекликается, что одно без другого попросту непонятно. Куда там Саади! Тем не менее оказалось, что железная логика древневосточной схемы удивительным образом соотносится с вывихами и закидонами российской современности. Именно на второе тридцатилетие бунинской жизни пришлось странствие по земле. В 77-м он эмигрировал.

Его никто нигде не ждал. Уехал — в пустоту, в никуда. С пустыми карманами. Багаж состоял из папок с рисунками.

Но вот ведь воистину — кого Бог любит, того и исподражает. Когда Борис Полевой, будучи главным редактором «Юности», пытался «проветривать» в ЦК бунинский вопрос, референт Брежнева брезгливо обронил: «Все газеты нам загадили... Пусть сидят на своей

рийское гражданство он получает фантастически легко: крупный искусствовед, профессор Вальтер Кошачкий, портрет которого он сотворил за считанные минуты, опять же немедленно диктует секретарю ходатайство: «Этот мастер нужен нашей республике» — и бумага на глазах не привычного к подобному поведению властей художника не откладывается в долгий ящик, а уходит туда, куда должно. Практически сразу открылась выставка, которая пользуется успехом. И вот одна выставка сменяет другую; всего в Вене было 14 вернисажей. На этих выставках Бунин стремительно обрывает поклонниками, которые вскоре становятся его друзьями. И вот у него уже своя комфортабельная квартира в центре Вены, в которую новые знакомые натащили столько вещей, от мебели красного дерева до одежды, что непонятно, на кой ему столько. Пытался отказываться — море обиды. Махнул на все это рукой (пусть будет, как будет) и занялся делом.

Он стал писать маслом: у него наконец-то появились краски. Хотя, на мой взгляд, масло не его техника, он прирожденный график. Но дело ведь в том, что у него прежде не было возможности покупать краски, холсты, кисти... Это было недоступно, вождельно и — унизило. А теперь Бунин много путешествует и пишет.

— Мне надо было изжить все те черные, негативные впечатления, которые накопились в пятидесятые годы. После Рима и Лондона это было уже не так страшно. Итого: за девять лет «западной» жизни — 30 персональных выставок в Вене, Берлине, Базеле, Тель-Авиве, Париже. А сколько понаписано! Сколько раздарено, продано, украдено, оставлено... В гостиничном номере Тель-Авива остался папка с 50 иллюстрациями к Ветухому Завету Я: «Какой ужас!» Бунин: «Если кому-то понадобится, пусть берет». Две иллюстрации к «Фаусту» Гете хранятся наряду с

мной? Спедеологи знают, что такое шкурдер: это настолько узкий лаз, что пройти его можно только на выдохе. Вдохнул — и застрял. Вот эти три дня и стали таким шкурдером. «Шкура» — то, чем оброс за «человеческую» жизнь в Австрии, — там же, в Австрии, и осталась. Едва успел упаковать лишь все те же рисунки. Больше ничего. Вернулся, как и уезжал. И опять — в никуда, ни к кому. Впрочем, как ни к кому? К самому себе.

Кучка друзей, встречавшая Бунина в Шереметьево-2, дружно скандировала: «Выдали дурака!»

Так почему же он вернулся? Бунин сданным жестом вскидывает глаза и ладони к потолку: «Неужели это надо объяснять?»

Теперь он живет неподалеку от дома, где родился. Восстановлен, а точнее, пройдя весьма унизительную процедуру, вновь принят в Союз художников. Получает грошевую пенсию. Я очушаю картофелину от мундира, а Павел Львович хвастается: «У меня и лук есть, не забудьте попросить!» — и торжественно вручает мне желто-зеленое перышко. Потом вздыхает: «Эх, приехали бы вы ко мне в Вену, я бы вас не так угостил...»

В Вене, возражаю я, угостили бы не меня. Рангом не вышла. Так что мне повезло.

Да и всем нам, я считаю, крупно повезло. Можно встретиться с этим несносным и удивительным человеком. Можно попасть на его выставку (они редки, но после возвращения в Россию состоялось уже десять «персоналок», последняя — в июле — в галерее «Белые»). Можно даже купить его работу! Подлинник самого Бунина! Фантастика!

А насколько повезло Павлу Львовичу? «Мне уже в общем-то ничего не надо. Теперь я не уязвим».

Простите, не верю. Еще и потому не верю, что в ответ на мои первоначальные невразумительные стенания (не знаю, что о нем писать, все хвалю уже пропеты) последовал потрясший меня совет: «А вы напишите о нереализованности». О чем-о чем? О чей это? Бунинской? Тут и нахал растеряется. Нам бы с вами, господа, подобную нереализованность!

А живому классику Павлу Бунину, считает Саади, еще пахать и пахать. Он и не возражает, он готов. Да вот заказов нет. И далеко не все опубликовано из его стихотворных переводов, воспоминаний, статей по истории, размышлений о литературе... И альбомов репродукций тоже нет.

Какая странная судьба... А впрочем, нет, закономерная. Судьба иллюстратора Павла Бунина с графической точностью иллюстрирует нашу новейшую историю, наше время и положение в нем творческой личности. История катастроф и насилия. Время натиска массовой культуры, время римейков и рекламных роликов. Только на отдельных конкретных личностях, драгоценных крупинках, хранителях духовной культуры, хранителях гармонии мы еще держимся. Их надо беречь. Они необходимы обществу. Без нравственности, которую воплощают художественные образы, любая общественная деятельность даже не бессмысленна, а попросту опасна, поскольку способна принять самые уродливые и дикие формы.

И если экономический тупик любой человек ощущает на себе, то осознать и почувствовать гибель культуры способны лишь единицы, одаренные особой чувствительностью. ...А Павел Бунин больше не рисует. Кому, говорит, это нужно?



«Фауст». Мефистофель.

рисунками Рембрандта и Гойи в венской галерее Альбертина.

Он наконец-то накормлен и облакан. Чего еще желать? Он может поехать в любую страну. Кроме одной. В СССР его не пускают. Его имя отовсюду тщательно соскребаются. Такого художника у нас нет и сроду не было. Впрочем, так поступали со всеми эмигрантами. За десять лет, проведенных художником вне Родины, подросток поколения, которому незнакомо его имя. (Собственно, для них-то я так подробно все это и рассказываю.)

Минуло девять с лишним лет. И однажды ему сказали: «Можете вернуться. Если хотите. На сборы — три дня».

О, эта доброта! Столь сходящая с сизидомом. Как втиснуть свою новую жизнь и себя, отвыкшего от плетков в лицо, возродившего в себе человека, в такую узенькую шелочку вре-